Игнатьева Е. А.

ТЕМА ЖУРНАЛИЗМА В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ "ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО"

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2008/8-2/28.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2008. № 8 (15): в 2-х ч. Ч. II. С. 66-68. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2008/8-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

славляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою» [Гоголь 1938: 98-99].

Последние строки этого пассажа, очевидно, намекают на С. П. Шевырёва и тех журналистов-романтиков, которые однозначно отвергают коммерциализацию культуры. Возможно, Гоголь подразумевает антитезу московской и петербургской журналистики. Как бы то ни было, в разухабистой статье журнального писаки, как в капле воды, отражаются те же проблемы, которым посвящена вся повесть и которые несомненно волновали и Гоголя-журналиста. Обесценивание высокого искусства обозначено здесь множественным числом имён великих художников Ван Дейка и Тициана, подобно тому как в «Невском проспекте» имя Пушкина попадает в окружение имён Ф. В. Булгарина и А. А. Орлова. А ведь девальвация подлинных критериев оценки искусства - ярчайшая черта коммерческой петербургской журналистики. Остаётся лишь вновь констатировать, что эта тема совершенно гармонирует в «Петербургских повестях» с темой всеобщей девальвации человечности и представления жизни как чудовищной мешанины, лишённой внутреннего стержня.

Трагикомическая подоплёка взаимоотношений художника и пишущей братии выявляется в реакции Чарткова на статейку. Обнаруживается *магическая* власть печатного обнародования имени над его носителем, и это чрезвычайно естественная реакция. Чартков не может не понимать умом, что статья - чистой воды блеф, независимо от возможностей его таланта. Но он как будто *заворожён* великой честью печатной похвалы, которая на самом деле становится первым настоящим бесчестием: «С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нём заговорили печатно - это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза: «виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству - честь, доныне ему совершенно неизвестная» [Гоголь 1938: 99]. Метасюжет искушения современными бесами продолжает порождать новые побеги. В мире, который делает людей нулями, роль беспринципной журналистики чрезвычайно велика, ибо она создаёт иллюзию значимости. По мнению В. М. Марковича, это одна из главных тем «Петербургских повестей»: обособленность людей, раздробленность жизни заставляет чувствовать свою собственную ненужность, «и человек оказывается перед необходимостью как-то «означить» себя, чтобы не пропасть, как «пузырь на воде», бессмысленно и бесследно» [Маркович 1989: 144]. И в этот момент журналистика оказывается чрезвычайно своевременной, ибо даёт почувствовать себя единицей, а не нулём. Всё это можно было бы трактовать как размышления о человеческом тщеславии, если бы не поэтика «Петербургских повестей», которая противится такой трактовке. Удовольствие, испытанное Чартковым, когда он увидел своё имя в похвальной статье, - это не психологический феномен в мире Гоголя, а метафизический. Этот обычный факт увеличивает свою значимость, ибо общая философская подоплёка цикла служит ему увеличительным стеклом. Герои ищут оправдание своего бытия в миражах. Современный петербургский журнализм - ещё один и весьма «весомый» мираж.

Функция создания денег из пустоты выполняется журнальной рекламой как нельзя лучше. Гоголь подчёркивает незаменимость этого источника, огромную власть пустословия, бумагомарания. Пустота, фикция порождает в мире петербургских повестей материальные житейские блага. Журналистика в художественной интерпретации автора «Портрета» остаётся конкретным социально-историческим и культурно-историческим явлением, но приобретает также инфернальные смысловые оттенки, становясь дорогой в ад. Именно после статьи в газете репутация начинает управлять героем, и это начало его падения.

В соединении темы журналистики с темой власти золотого искуса не было ничего исключительно гоголевского или российского. Можно интерпретировать «Шагреневую кожу» Бальзака как явную художественную параллель к «Портрету» и с точки зрения общего замысла, и в отношении некоторых образных особенностей. Нас же в данном случае интересует именно потенциальная лёгкость замены мистического предмета, дающего Рафаэлю и Чарткову призрачную власть над собственной жизнью, на возможности продажной журналистики. Этим не столько мистифицируется последняя, сколько демистифицируется волшебный предмет, превращаясь в символ реального явления.

Список использованной литературы

1. Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. - М., 1938. - Т. 3.

2. Гюнтер, Ханс. Между мамоной и мистикой. Проблематика художника в «Портрете» Гоголя // Гоголь как явление мировой литературы. - М., 2003. - С. 179.

3. Денисов В. Черты «Портрета» // Гоголь как явление мировой литературы. - М., 2003. - С. 184-193.

4. Маркович В. М. Петербургские повести Н. В. Гоголя. - Л., 1989.

ТЕМА ЖУРНАЛИЗМА В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»

Игнатьева Е. А.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского»

«Записки сумасшедшего» - это своеобразная пародия на весьма распространенный в литературе 1830-х годов жанр записок, который использовали многие авторы романов и повестей. К этой повести исследователями найдена параллель из области журнальной литературы - «Три листка из дома сумасшедших» Ф. В. Булгарина («Северная пчела», 1834, № 37, 15 февраля) [Золотусский 1976: 212-214]. Журналистика стано-

вится и темой повести, и источником, т.е. неким материалом и предметом творческого переосмысления, и, наконец, своеобразным медиатором между миром и воспалённым сознанием главного героя Поприщина. Журналистика, формирующая бред, - это новый поворот в «Петербургских повестях», подготовленный тем, что в других повестях она наделена неявным качеством бредовости.

В рамках реалистической эстетики журнализм применительно к «Запискам сумасшедшего» трактуется как один из факторов социальной и культурной среды. В «набор стандартных черт среднего чиновника» входит среди прочего и «кругозор, ограниченный мнениями официозной газеты» [Маркович 1989: 75]. Но в том-то и дело, что Гоголь пишет не очерк, и его герой, даже разделяя пошлость общепринятых стереотипов, переживает потрясение и возвышается до трагедии, прозревая в безумии. Прибегая к традиционнейшему литературному мифу о прозревающем безумце, Гоголь явно указывает на трагедию и придаёт трагедийный пафос некоторым просветлениям Поприщина. И официозная газета сыграла в этой метаморфозе парадоксальную роль, перестав быть только фактором среды.

Рассмотрим детальнее открытые проявления темы журнализма в повести «Записки сумасшедшего». Пока время записок соответствует календарному и общепринятому, упоминания газет почти не выходят за пределы характеристической функции. Так, в записи от «октября 4» находим: «Читал Пчёлку. Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-богу, их всех да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут» [Гоголь 1938: 196]. Титулярный советник Поприщин принадлежит к той братии читателей, у которой «Северная пчела» весьма популярна. Газета то проливает елей на его душу - и тогда он благодушествует, то раздражает его потревоженный рассудок - и тогда он готов вновь и вновь решать мировые вопросы. Она является источником представлений о мире, в которых существенным оказывается контраст наивных политических сентенций, приятных провинциальных пустяков, сенсационных курьёзов и катастрофических поворотов сознания, вроде того, который связан с упразднением престола в Испании (запись от декабря 5). Так, например, подозрительно напоминают газетные курьёзы слова Поприщина о честолюбии: «Всё это честолюбие и честолюбие оттого, что под язычком находится маленький пузырёк и в нём небольшой червячок величиною с булавочную головку, и это всё делает какой-то цирюльник, который живёт в Гороховой. Я не помню, как его зовут. Но главная пружина всего этого турецкий султан, который подкупает цирюльника и который хочет по всему свету распространить магометанство. Уже, говорят, во Франции большая часть народа признаёт веру Магомета» [Гоголь 1938: 210]. Полёт фантазии и безумной логики от «червячка» честолюбия к зловредным планам цирюльника по распространению магометанства вполне коррелирует с мешаниной и сумбуром «Северной пчелы».

Исходная путаница в растревоженном рассудке Поприщина лишь усугубляется путаницей газетных публикаций. Газета помогает ему найти виновников его бед - Полиньяка и Англию. Газета вносит в его речь трюизмы («когда Англия нюхает табак, то Франция чихает»). В то же время именно газета (да ещё театр) расширяют его образ мира за пределы департамента, Мавры и недостижимой возлюбленной.

«Странные дела» в Испании и становятся тем пунктом, с которого обнаруживаются явные признаки окончательного помешательства, и лихорадочная мысль Поприщина начинает стремительно двигаться в одном направлении, т.е. к убеждению, что он, Поприщин, и есть отыскавшийся испанский король и что на него возложена особая миссия. Конечно, его патологическая сосредоточенность на мысли о несправедливости сословной иерархии и лёгкость возникновения утопических картин собственного торжества над обидчиками в его сумбурном сознании как бы управляет отбором, оценкой и додумыванием газетной информации. Не сумев осилить сообщение об упразднении престола, он по-своему пытается в своей безумной логике восстановить поколебленную гармонию. С одной стороны, его тревожит фатальность собственного социального ничтожества, с другой, катастрофа в Испании. Страстное желание восстановить гармонию помогает сделать нехитрую логическую операцию, - и вот уже идея человеческого достоинства превращается в манию величия, правда, необычную.

Было бы преувеличением сказать, что именно газеты свели его с ума. Но они несомненно способствовали этому, ибо почва была благоприятная: сосредоточенность на неразрешимой идее («Отчего я титулярный советник?») «помогла» герою истолковать весь поток политических известий, на которые «Северная пчела» имела монополию, именно так, а не иначе. Не находя в газетах сколько-нибудь глубокого толкования происходящего, какой-либо позиции, Поприщин интерпретировал всё по-своему, в ключе невероятной смеси благородных и утопических представлений о гуманном и мужественном монархе, вздорных географических и астрономических «открытий» («Китай и Испания совершенно одна и та же земля»; «луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге»; «у всякого петуха есть Испания… она у него находится под перьями» и т.д.) и пронзительного крика о спасении.

Всё сказанное выше о роли газеты в мировосприятии героя «Записок сумасшедшего» заставляет поставить вопрос о том, какую художественную задачу решает Гоголь, разрабатывая эту тему столь неоднозначно. Неоднозначность сказывается прежде всего в том, что отношение автора к читателю «Пчёлки» расходится с реальным отношением Гоголя к самой газете. Естественно, что повествование от первого лица не могло не породить впечатления весьма лояльной позиции относительно булгаринской газеты, хотя это иллюзия сказовой формы. Авторская насмешка над влиянием «Северной пчелы» отчётливо слышна, и подчас довольно ядовита. Но по мере того, как меняется сам Поприщин, намёки на газетную болтовню наполняются трагической иронией. Они звучат нелепым контрастом прозрениям героя и чистому голосу его души.

В целом «Записки сумасшедшего», соединяя в себе разнообразные мотивы «Петербургских повестей», открыты в широкий контекст творчества Гоголя и его поэтики. Так, например, развивая «носологию», звенья которой мы находим не только в «Носе», но и в «Невском проспекте», Гоголь вкладывает в уста Поприщина трагикомическую реплику, в которой герой, как и положено сумасшедшему, путает инфантильные обрывки курьёзных образов с откровениями: «Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз во лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник?» [Гоголь 1938: 209].

Нельзя не заметить, что этот программный монолог отсылает к той же газетно-журнальной смеси, которая, по В.В. Виноградову, была исходным материалом для Гоголя в «Носе». Но здесь Гоголь почти буквально воспроизводит диковинный и одновременно каламбурно-анекдотический характер «носологических» новостей [Виноградов 1976: 13, Крашенинников 2001: 336-343]. Правда, этот материал встраивается в логику откровения Поприщина, но сами символы выдают источник. Помутившееся сознание титулярного советника буквально нашпиговано несообразностями современной периодики, его изломанная память и больное воображение прочно хранит обрывки газетно-журнальной смеси, которые заполняют лакуны его души и смешиваются с идеей-фикс. Она-то и придаёт определённый узор мешанине обрывков и сумбуру помутившегося сознания.

Контрастом к таким откровениям становится финальный порыв духа, когда герой одновременно с предельным физическим страданием и унижением испытывает внутреннее раскрепощение. В это время газетно-журнальный мусор как знак раздробленного бытия покидает его сознание: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых как вихорь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звёздочка сверкает вдали; лес несётся с тёмными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку!..» [Гоголь 1938: 214]. Правда, венчается эта чистая лирическая проза, предвещающая финал «Мёртвых душ», очередным «вестником» из мира сенсационных и курьёзных уродств, переполняющих массовую периодику: «А знаете ли, что у французского короля шишка под самым носом?» [Гоголь 1938: 214]. Нет ничего необратимого в просветлении сознания и души Поприщина, и вновь берёт своё этот безумный сумбур мелочей и носологических уродств.

Список использованной литературы

1. **Виноградов В. В.** Поэтика русской литературы: Избранные труды. - М., 1976.
2. **Гоголь Н. В.** Полн. собр. соч.: В 14 т. - М., 1938. - Т. 3.
3. **Золотусский И. П.** «Записки сумасшедшего» и «Северная пчела» // Золотусский И. П. Час выбора. - М., 1976. - С. 212-214.
4. **Крашенинников А.** О реальности основы сюжета повести Н. В. Гоголя «Нос» // Вопросы литературы. - 2001. - № 5. - С. 336-343.
5. **Маркович В. М.** Петербургские повести Н. В. Гоголя. - Л., 1989.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЖУРНАЛИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «РИМ»)

Игнатьева Е. А.
ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского»

Повесть Гоголя «Рим» была впервые напечатана в «Москвитянине» (№ 3 за 1842 год). В журнальной публикации ей был придан подзаголовок «отрывок». Сами обстоятельства её появления в свет свидетельствуют о том, что борьба с «Северной пчелой» и «Библиотекой для чтения» потеряла свою актуальность для Гоголя и определяющим контекстом его позиции были уже не Пушкин со своими соратниками, а М. П. Погодин и С. П. Шевырёв. Тем не менее, в повести «Рим» можно обнаружить некие моменты, которые не только связывают её с «петербургским» циклом, но и ставят в позицию своеобразного итога более широкого цикла. Тема же журнализма оказывается одной из универсалий этого цикла, а само понятие расширяется до масштабов общеевропейского культурного явления.

Противопоставление Парижа Риму как профанного пространства сакральному [Кривонос 2001: 14-27] вполне изоморфно противопоставлению парижской журналистики и жалких итальянских журналишек, ибо журналистика мыслится Гоголем как нечто единоприродное самой цивилизации. Конечно, нужно сделать поправку на то, что герой повести, попадающий в традиционную для повестей третьего тома ситуацию искушения, на время попадает под влияние ослепительного Парижа, чем объясняется эмоциональное содержание его ранних сравнительных оценок, когда он убеждается на время в глубокой провинциальности Италии (европейского захолустья). Кроме того, сама природа Рима, раскрывающаяся в тройной перспективе (в